

Глеб Иванович Успенский

Голодная смерть



Глеб Иванович Успенский
Голодная смерть
Серия «Новые времена,
новые заботы», книга 7

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664895

Аннотация

«...Тема рассказа – пробуждение в забитом и запуганном крестьянском мальчике-самоучке сознания несправедливости существующего порядка вещей и желания помочь народу – тесно связана с одной из основных идей цикла – о зарождении мысли в массах под влиянием «новых времен». ...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

15

Глеб Иванович Успенский

Голодная смерть

...Плохой клубный ужин был съеден, плохое клубное вино выпито; но небольшое общество, успешно совершивши и то и другое, не расходилось и продолжало сидеть за жиденьким клубным столиком.

Пять человек, сидевшие за этим столом: медицинский студент, его сестра, сельская учительница, неудавшийся и скучающий своим фраком и белым галстуком адвокат, проклинаящий свою газету фельетонист и так «просто человек», служащий в банке, – все это общество испытывало по окончании ужина только Петербургу свойственное вялое утомление – результат суетливого, но ни капли не интересного дня... Вяло велись разговоры, поминутно перерываясь длинными паузами и касаясь тысячи разнохарактернейших предметов, что не только не способствовало оживлению беседы, но, напротив, делало из нее какое-то несносное, не имеющее цели бремя... Так тянулось довольно долго, когда случайно кто-то из собеседников заговорил о самоубийствах. Грустная тема эта – как ни странно это покажется – вдруг оживила разговор: в самом деле, в последние годы мания самоубийства черною тучей пронеслась над всем русским обществом, и едва ли в нем найдется кто-нибудь такой, которого бы эта беда не интересовала, помимо беды обще-

ственной, еще и с личной точки зрения. У каждого беда эта унесла кого-нибудь, с кем была близкая или дальняя связь родства, близкое или дальнейшее знакомство.

Оживившийся разговор пяти клубных посетителей сразу показал, что вопрос о преждевременной смерти занимал каждого из собеседников едва ли не более всех других вопросов, которых в таком обилии касался сегодняшний вялый, скучный разговор за ужином. Оказалось, что всякий подумывал об этом деле, и подумывал не раз, и у всякого был материал, разработанный каждым на свой образец, и разработанный довольно тщательно.

Случайно подвернувшаяся тема была так всем близка и интересна, что немедленно и единогласно было потребовано еще две бутылки клубного вина, что предвещало всеобщее желание толковать, и толковать обстоятельно, то есть предвещало еще две или три бутылки в окончательном результате.

Поддерживаемый первыми бутылками разговор пошел оживленно и бойко: припоминались случаи, виденные, слышанные, приводились всевозможные объяснения: ревность, любовь, запутанные дела, оскорбленное самолюбие, и проч., и проч., и вместе с тем пытались взглянуть на дело вообще, подвести итог своим наблюдениям, своим мыслям по этому предмету.

Крайне разнообразны были общие взгляды на коренные причины эпидемии самоубийств, но то обстоятельство, что

мания эта могла появиться и разрастись только в настоящее время, – это всеми признавалось единогласно. Все были согласны, что новое время русской жизни было главною причиною к тому, чтобы началось это поголовное самоизбиение, и что главная, существенная черта этого нового времени – необходимость жить своим умом, самому отвечать за самого себя, необходимость, осенившая сразу сотни тысяч народу, благодаря крепостному праву со всеми его многочисленнейшими разветвлениями, в виде всевозможных родов дармоедства и дармобытия, не имевших ни возможности, ни сил, ни умения распознать в себе образ и подобие божие.

Фельетонист, проклиная свой газету и свою профессию, утверждал, и притом самым настоятельным образом, что холопство, вбитое в русского человека, – главная причина и корень всех ненормальных, безобразных явлений современной действительности. Несомненно одностороннее мнение это фельетонист обставил рядом нахватавшихся отсюда и отсюда доказательств, из которых вышло примерно следующее: русский человек до такой степени лично уничтожен, что совершенно отвык видеть в себе человека, то есть разумное существо, созданное, как утверждают, по образу и подобию божью, имеющее право жить, дышать, думать и поступать; он утверждал, что замордованный русский человек ценит в глубине души только жестокость, несчастье, палку; полагает кровью и плотью своею, что нечто постороннее, жестокое, трудное и, главное, мало или даже почти непонятное

есть его единственные и самые подлинные жизненные руководители, его судьба, предопределение; что замордованный таким образом русский человек, поставленный новыми порядками русской жизни в необходимость обдумать собственное свое положение, должен был потеряться, так как моменты, когда надо самому за все отвечать, в настоящие дни возможны, по крайней мере относительно мелочей личной жизни; мысль эту, то есть потерю русским человеком почвы под ногами, потерю им сознания законности и цели своего существования, охватывающую его в минуты, когда над ним не гремят громы небесные, когда его «не пугают» справа и слева, – фельетонист обставил примерами, взятыми и из личных наблюдений и из фактов общественной жизни, знакомых всем слушателям по газетам. Сгруппированные им факты производили впечатление не столько, правда, глубиной и тонкостью наблюдений, сколько поспешностью, с которой г. фельетонист выбросил их, один за другим, пред заинтересованной публикой. Он указал между прочим на ту странную черту, вообще господствующую во всем русском обществе, вследствие которой оно, это общество, не замечает и совершенно не видит, не слышит таких явлений, которые стоят у него под носом сотни лет, и вдруг начинает видеть и слышать все это, как только разрешат... «Почему это, – спрашивал он, – разные комитеты обнаружили такую страстную жажу делать добро болгарским и черногорским бедным отцам и нищим детям, когда у них на глазах явлений, могуч-

щих трогать те самые струны сердца, которые пробуждаются бедствиями Болгарии, великое множество, и притом сотни лет и каждый день? Одних подкидышей в том самом городе, где живут они, сколько мерзнет на церковных папертях, в подворотнях богатых купцов, сколько мрет детей по деревням, по крестьянским избам! А какое обилие нищих шатается по городу! Каждую субботу непременно какой-нибудь благодетель раздает по копейке на каждого нищего, и каждую субботу можно видеть тут, под боком, какое обилие этого народа, как он жаждет копейки, как он терпелив, ожидая ее, как он зол, когда ее перехватят другие... Кто не видал, как *в кровь* дерутся из-за этой копейки? А это непрерывное нытье за окном: «па-а-адайте... христа... ради... слепенькому... погорелому... убогому... нищему...» Ведь этот тихий стон слышит каждый из нас всю свою жизнь; ведь об этих подкидышах, об этих слепеньких и погорелых всякий из нас знает испокон веку – и что же? все это ни капли не трогает, точно так это и должно быть. Я сам, – прибавил фельетонист, – очень хорошо помню, как однажды в провинции я сам закричал даже на какого-то солдата, который охал у меня под окном в то время, когда я сидел за работой, компилируя французскую книгу о лионских работницах; я семерых послал в кухню, и этот восьмой вывел меня из терпения... Отчего вот на такие, под самым носом совершающиеся, бедствия я молчалив и терпелив? Отчего даже и на черногорцев и герцеговинцев я стал жертвовать только тогда, когда при-

шел квартальный и сказал: «можно!»¹ Да потому, мне кажется, что я именно себя-то и потерял... Только чужое мне, постороннее и действует на меня – будь это приказ квартального, газетная горячая статья или книжка о лионских рабочих... Без этих посторонних приводов мое существование неподвижно, тупо и равнодушно. Собственно я, без палки, без указки и тумака («ну, это – уж очень!» – заметил кто-то из присутствовавших), так отношусь к явлениям жизни: вот герцеговинцев режут, вот нищие ходят, вот дети умирают на папертях и подворотнях... Я-то тут при чем?.. У меня даже мысли нет, что бы такое следовало изо всего этого... Но я делаюсь совершенно другим, когда на меня заорут: «Ты что ж это на герцеговинцев-то не жертвуешь? Ты что ж это не спасаешь погибающих детей? Ты что ж это (так и так) нищих-то развел?.. О лионских мастерских пишешь, а тут под боком люди расшибают себе лица в кровь из-за копейки серебром, из-за бутылки, выкинутой в помойную яму?.. Эй!..» Тут я вдруг очнусь, и все доброе откроется у меня во всю ширь! «Можно!» – завопию я всеми суставами и ринусь... Но и тут еще надо указать мне, куда ринуться и как... Надо с точностью научить, что пожертвования принимаются там-то

¹ ...пришел квартальный и сказал: «можно!» – Стремясь использовать борьбу славян Балканского полуострова за освобождение в своих политических интересах, в частности желая отвлечь внимание демократических слоев от положения внутри страны, царское правительство разрешило в 1876 году деятельность славянского благотворительного комитета, собиравшего средства в пользу балканских славян.

и тем-то, все надо перечислить по пальцам, а то я постоянно буду затрудняться разными совершенно бессодержательными вопросами: например, можно ли чулки пожертвовать болгарским детям или нельзя? Хотя я очень хорошо знаю, что дети эти без чулок, что чулки им нужны и что, наконец, кроме этих чулок мне жертвовать нечего. Даже самое понятие-то слова «пожертвование», отлично мною понимаемое, я считаю настоящим, подлинным пониманием не у себя, а у тех, кто мне разрешает...»

Протест большинства присутствовавших за клубным столом лиц, усумнившихся было в действительности существования в русском человеке странной любви к палке, был заглушён все более и более разгорячившимся фельетонистом помощью усиленной торопливости, с которою он перешел к новому ряду доказательств, не дав хорошенько разобрать и обдумать только что сказанное. Коснувшись сербской войны и объяснив эту русско-сербскую толкучку именно тем, что тут соотечественники пытались попробовать сделать дело сами, без указки и без палки, и не дав по обыкновению никому возразить, он тотчас перешел к ежедневным явлениям современной жизни и стал выхватывать одни примеры за другими. По его словам, неуменье жить без неприятностей видно повсюду. Он знал супругов, которые не могли ужиться при самых благоприятных обстоятельствах и отлично жили при неблагоприятных. Вот образцовая пара: оба хорошие, умные люди, оба сошлись не из расчета, а по люб-

ви, и согласны по мысли... И что ж, скука, тоска, холод... Ни одно дело не удастся, ничто впрок нейдет. Разошлись наконец. И глядишь: сошелся супруг просто с немкой Каролиной Карловной, у которой только одни потребности: иметь на руке мешок с деньгами и елико возможно больше извлекать этих денег из всего мироздания, – и все пошло как по маслу. Каролина Карловна каменной тучей своего грубейшего непонимания висит над человеком, над его развитием и умом; человек этот ропщет, но ожил, бегают по вселенной, «достаёт» и уж, поверьте, никогда не уйдет от этой каменной тучи. «Сам», своею охотою не уйдет. Потому что бессмысленные, нестерпимые условия, в которые попал человек, благодаря этой женщине с каменными мозгами и сердцем, он считает подлинными, заправскими, а доброту, ум и простоту прежней привязанности считает только сном детским, из которого ничего не выйдет и с которыми страшно и холодно жить на свете. Не запряженный, пущенный на волю русский человек пропал, погиб в большинстве случаев, и единственное спасение ему – крепкие оглобли, тяжелый воз... Так привык, так заезжен. Продолжая не слушать возражения собеседников, тщетно спрашивавших: «при чем же тут самоубийство?» – автор теории любви к палке выдвинул еще новое наблюдение: именно, он сказал, что даже так называемые новые идеи и дела для многих-многих россиян важны и значительны только как бремя, как упряжка, как постоянная борьба с самим собой, постоянное мучение, ис-

пытываемое в этой борьбе, происходящей от полного разногласия всего существа субъекта с требованиями новых идей. Иной и рвется к ним, потому что исповедывание их почти для него невозможно... В подтверждение этого положения он рассказал про одну девушку, долго и безуспешно отбивавшуюся от своего истинного призвания – быть хорошей хозяйкой и матерью многочисленного семейства, забывавшей в один день все, что выдолблено ею в год, вроде экзамена на сельскую учительницу, и никогда не выучившейся понимать и различать общественные дела от необщественных. Нужно было видеть, что это была за мученица! Она едва не умерла, как вдруг вышла замуж, родила ребенка и расцвела, то есть все забыла и стала тем, чем должна была быть, влача иное, свойственное ее натуре бремя хозяйства и домоводства. Рассказал он еще и про одного мужчину, своего товарища по гимназии, который отдался новым идеям, тоже как будто с испугу и тоже потому, что в натуре и существе его именно и не было ничего нужного для того, чтоб идеи эти были живыми в живых людях. Испугавшись раз, в первые дни приезда в круг молодежи одного провинциального университета, он уж стал потом все делать с испугу и поступал во всем против собственных желаний. Женился потому, что жена решительно ему не нравилась, и потому, что именно это обстоятельство (жена была из новых) делало его причастным к тем кружкам, идеи которых были для него почти невозможны... Словом, человек этот, раз узнал, что в нем нет материала для

исповедывания новых идей, испугался самого себя и стал поступать против себя во всем.

Собеседникам показалось все это до такой степени трудно постижимым и неудобоваримым, что несколько голосов нашли нужным прервать рассказчика вопросом: «Да при чем, наконец, тут самоубийство? Зачем вы приводите таких уродов, идиотов и глупцов?» Фельетонист, очевидно хвативший в последовательности своих наблюдений через край, категорически объявил однако, что этих глупцов, этих людей, желающих ярма, так много на русской земле, что изучение странной любви к ярму можно считать достойным внимания образованного российского общества и что к самоубийствам все вышесказанное также имеет отношение довольно близкое, именно: самоубийством непременно должен кончить всякий из таких умеющих жить в ярме, как только жизнь поставит его в необходимость почерпать силу жизни в собственном желании и мысли. Такой человек в такие минуты с ужасом видит, что в нем нет источника жизни и почерпать не из чего. Умирают такие люди собственно «от испуга»... самих себя.

Этими словами, показавшимися всем похожими на правду, наблюдатель окончил изложение своих наблюдений, залпом выпил стакан вина и обещал все это разработать в своем фельетоне, прибавив:

– Вот тогда увидите...

– Нет, – перебил его медицинский студент: – я вот чего

не понимаю... Я не понимаю, как можно умереть с голоду... Мне понятно, что в минуту отчаяния, испуга, как вы говорите, молено пустить пулю, принять яду, но морить себя десять, пятнадцать дней голодом, умереть от самовольного истощения – этого я не понимаю... Какой тут испуг? Вообще, я не понимаю тут ни капли...

– Болезненное состояние... – произнес было банковский чиновник...

– Я об этом не говорю; я спрашиваю только: каким путем доходят до этого состояния?..

– Тоже от испуга... – нерешительно произнесла сестра студента, сельская учительница.

Это была одна из тех много думающих, но робких девушек, которые в редких случаях, и то вспыхнув от сознания неловкости, решаются произнести свое словечко.

Обыкновенная форма разговора этих натур такая: «Мне кажется... я думаю...» Начнет она – и тотчас замолчит. «Говорите же, что вы думаете?.. Говорите пожалуйста». – «Нет, я так... Я ничего не понимаю...» – «Что за вздор! как ничего не понимаете?.. Говорите, ради бога». – «Я думаю... Нет, я дура...»

И только после многих ободрительных слов, большею частью в ту минуту, когда уж и не ждут никаких от нее объяснений, она вдруг выскажется торопливо, кратко и верно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.